

ВСПОМИНАЯ МАЯКОВСКОГО

С. МАРТИНСОН
(артист)

В. Маяковский часто бывал в Театре Мейерхольда и, вероятно, видел меня в спектаклях.

Однажды я пришел в Дом Герцена, который находился рядом с Камерным театром на Тверском бульваре. Туда по субботам собиралась вся театральная публика, танцевали, веселились. В этот вечер там был Маяковский. И вот, в перерыве между танцами, Владимир Владимирович встает, поднимает бокал красного вина и, обращаясь к зрительному залу, говорит: «Пью за Мартинсона!» — и посылает мне бокал красного вина. Так состоялось наше знакомство. Вскоре он пришел к нам в театр на читку своей новой пьесы «Баня», о которой нам объявил Мейерхольд. Маяковский любил все. И восприняли мы сообщение о том, что будем ставить его пьесу, с большой радостью. Маяковский вышел вместе с Мейерхольдом, открыл книгу и начал: «ВЭ. МАЯКОВСКИЙ». Это он сказал очень громко, а потом начал читать собственную пьесу. Во время чтения он вносил коррективы в текст, говорил, как бы интерпретировал то или иное место в спектакле.

Когда начались репетиции, Владимир Владимирович приходил каждый день.

Премьера состоялась 16 марта 1930 года. Раз 15 я играл свою роль в спектакле, и каждый раз, когда Владимир Владимирович приходил на спектакль, он нам подыгрывал. Садился Маяковский на высокий бельэтаж, откуда кричал: «Время! Время!» Это было сигналом к тому, чтобы начинать 3-й акт. Начало его, время, давал всегда Маяковский. Он начинал первый хлопать и этим давал сигнал, чтобы хлопала публика.

К сожалению, пьеса не имела успеха. И Маяковский очень переживал.

Вскоре основная труппа театра Мейерхольда уехала на гастроли в Берлин, где 14 апреля мы узнали о смерти Владимира Владимировича. В этот день у нас был спектакль. Перед началом спектакля Мейерхольд вышел на сцену и, сказав о смерти Маяковского, попросил всех встать, почтить память великого поэта и драматурга...

Н. ДЕНИСОВСКИЙ

(художник Окон РОСТА, а впоследствии — Окон ТАСС)

Шел 1919 год. Гражданская война. Год был лютый, холодный, голодный. Во ВХУТЕМАСе, где я учился, ломали табуретки, столы, чтобы топить печурки и как-нибудь согреться.

Как-то вечером сказали: приедет Маяковский.

Вхутемасовцы Маяковского обожали. Однажды, приехав, он читал уже третий час, но его просили еще и еще...

Как-то встретив меня во дворе ВХУТЕМАСа, Маяковский бросил мысль, чтобы написать его портрет. Я спросил, как он его мыслит. Отвечает: «Напишите на крыше над Москвой, чтобы было все повыше». Я запомнил этот разговор и хотя много позже, но так Маяковского и написал. (...)

... 14 апреля 1930 г. телефонный звонок застал меня на совещании в Наркомпросе у Бубнова. Мне сообщили, что застрелился Маяковский. Я немедленно поехал на Лубянку.

В передней была соседка по квартире и больше ничего не было. Он лежал головой к окну, ногами к двери, с открытыми глазами, с маленькой открытой точкой на светлой рубашке около сердца. Его левая нога была на тахте, правая слегка спустилась, а корпус тела и голова были на полу. На полу был браунинг. На письменном столе — записка, написанная его рукой. А на спинке стула, около стола, висел его пиджак...

М. БЛАНТЕР
(композитор)

Как-то Маяковский меня спросил: «Скажи-те, Мотя, на мои стихи композиторы будут когда-нибудь музыку писать?»

Я ему ответил, что о себе ничего не могу сказать, что не знаю, как на ваши стихи писать музыку, не представляю. В них заложена уже такая ритмика и ритмическая фактура, что сдвинуть ее музыкой очень трудно. «Но ведь будут другие времена», — сказал я, — будут другие композиторы. Те, возможно, будут писать». — «Значит, вы считаете, не будет, ну и Бог с ним, не надо», — сказал Маяковский с большой грустью. Потом, помню, я спросил его о Пастернаке. Он ответил: «Пастернак — гений». Я говорю: «Ну, уж гений... Почему же я его так не воспринимаю?» А Маяковский: «Он писал ведь не для вас». Казалось, Маяковский задира, а он был необычайно доброжелательным человеком. О самых маленьких поэтах он говорил всегда уважительно. В Староименовском переулке был клуб работников искусства, закрытый, посещаемый только его членами и очень небольшим количеством посторонних — друзей, знакомых. Помню вечер памяти Есенина. Артисты Театра сатиры читали по очереди его стихи. В это время пришли Брики, Маяковский и еще какие-то их знакомые. В гардеробе, где я ждал знакомых, Маяковский спросил: «А что там, Мотя, происходит?» — «Вечер памяти Есенина, читают его стихи», — «Уже начали спекулировать, уже пошли спекулировать...» — сказал он очень грустно. Он говорил о Есенине с большой грустью, с такой интонацией, как будто это было для него самое близкое существо.

А. ЛЕВИН
(художник Окон РОСТА)

Помню выступление Маяковского в «Бродячей собаке». Туда ведь очень трудно было попасть. И буржуазию тянуло туда страшно.

Я помню вечер в 1915 году, когда Маяковский просили читать стихи. Кричали, хлопали. Он вышел на эстраду и сказал несколько слов, смысл которых сводился к тому, что вот там, на фронте, погибают люди, а вы здесь обжираетесь.

Какая-то женщина крикнула ему: «Почему же вы не на фронте?» Он ответил: «По-

тому что перо поэта нужно родине так же, как и меч солдата».

Тогда эта же женщина воскликнула: «Только не ваше перо». — «Об этом бесполезно с вами разговаривать, сударыня, потому что для вас перья существуют только на шляпах», — парировал Владимир Владимирович.

Бывал я у Владимира Владимировича и в Пушкино. Обычно к нему в гости каждый день приходила масса народу, за стол садилось человек 20. В Маяковский совершенно не уединялся для работы над стихами. Даже когда мы играли в карты, он тут же вынимал карандаш, записывал, клал бумажку в карман. Это был очень гостеприимный и щедрый человек.

Когда я заболел сыпняком, В. Маяковский узнал об этом, и хотя сам был нездоров и не мог приехать, он сейчас же прислал одного товарища с деньгами. Он не знал, есть ли у меня деньги, нужны ли они мне, но прислал.

В. РОСКИН
(художник Окон РОСТА)

Я думаю, что как человек необычайного таланта, Маяковский в глубине души признавал достоинство Репина и любил новых французоз. Он восхищался Мейерхольдом, но как-то сказал, что хотел бы, чтобы его пьесы играли в Малом театре, а портрет его написал С. В. Малютин. (Малютин написал портреты Брюсова, Фурманова, Луначарского и др.) Никогда он не выражал свои воззрения на искусство в упрощенной и схематической форме, как это делал О. М. Брик, заявляя, что «сапоги делают сапожник, а художник творит — туманно и подозрительно». Эти упрощенные формулировки нанесли немало вреда в кругу молодых, даровитых и восприимчивых художников, отрезавшихся от работы над станковыми вещами, от работы с натуры и перешедшими целиком на утилитарное искусство.

Как художник Владимир Владимирович много работал над станковыми вещами в 16 — 17-м годах, когда жил на Тверской в гостинице «Люкс» и ухаживал за одной молодой художницей, которая училась со мной в мастерской И. Машкова. Она рассказывала, что он не выходил по месяцу из номера и был занят картинами, которые писал одну за другой. Нескольких картин сохранилось у Л. Ю. Брик и в Литературном музее, но все эти картины видела только эта художница, а она умерла... Она была очень влюблена в Маяковского и покончила жизнь самоубийством в 17-м году. Я думаю, что побудила ее на этот шаг неразделенная любовь к Маяковскому. Незадолго до своей кончины она показала мне свою картину, которую назвала «Свадьба Маяковского». В центре свадебного стола — Маяковский в цилиндре, во фраке, красивый и очень похоже нарисованный; по правую сторону она изобразила себя в подвешенном белом платье, а слева от Владимира Владимировича сидел полетный Д. Бурлюк с неизменным портретом в руке, и эту центральную группу окружали знакомые — молодые художники нашей мастерской, в их числе я легко нашел и себя. Это была большая, интересная акварель, которую я помню и по сей день.

Фрагменты записей воспоминаний, сделанных заведующей Мемориальным фондом музея В. В. Маяковского Ларисой КОЛЕСНИКОВОЙ, публикуются впервые.

психо-идеологию своего класса, способного бороться только с винтовкой в руках, живущего только противопоставляя себя сильному и опасному врагу. А эта борьба с «клопами» революции для Маяковского — стрельба по воробьям из пушек. Это настоящий поэт героических дней революции. Это наше красное, опаленное и простреленное в боях знамя, и если этим знаменем начали помахать, что бы выгонять из республики досадливых мух и сметать повседневную пыль, — древо сломалось.

Мещане и обыватели, жадные до скандальных историй, упыши интимности подробности. «Ах, брак вотром, ах, Лиля, какая она? Уже старая... А как муж? А кто это Полонская, а правда ли?» и т. д. Ищут женщину. Она необходима советским читателям Пантелеймона Романова и Цветага.

А Маяковский, наступивший на горло своей последней, обличительной и укоряющей песне, оставляет это безразличное, простое письмо всем, с умеренной дозой остроумия, грусти и практичности. Он знает, что гибель гиганта, гибель последнего еще живого поэта гражданской войны и революции слишком болезненным; неожиданный ударом отзовется на теле Союза — и он делает все, чтобы смягчить этот удар. Он знает, что директивы будут даны и все Коганы и Лежневые Республики, замалчивая социальную сущность явления, будут шествовать по газетам и журналам о «чисто личном», о «болезни, подвигающей» и т. д. И он идет навстречу, он исполняет социальный заказ до конца и оставляет эту «чисто личную» записку. А идет Демьян, не лаяя героического самопожертвования гения, вследскивает своими жирными руками, и удивляется «незначительности» письма...

Остался еще один только хранитель индивидуальности творческого начала прошлой эпохи: Пастернак. Он плакал над Маяковским до хрипота, до слез. Он оплакивал свою, быть может, нужную и закономерную, но такую страшную, такую безжалостную гибель. Он угадывал ее еще 7 лет тому назад.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я шел в войну,
Собирая со слезы, и слезы,
Здесь места нет слезы.

Музыка во льду звучит все глуше, и последний музыкант — Пастернак — затерял уже льдами, он во льду по горло. Быть может, этот лед — мертвящий и сковывающий нас — в изменении нового класса является животворщей солнечной энергией. Но «та среда» вымирает, и ее организм не приспособлен к этому жестокому бытию. Это бытие, появившееся в период, когда сознание «той среды» было сформировано, убивает ее лучших (самых честных и чутких) представителей.

Нельзя ни брехать, ни злобствовать. Но очень трудно быть ступенькой лестницы, по которой спокойно, торжественно и победоносно поднимается молодой класс.

На фото: А. Фадеев и О. Ляшко, 1929 г.

Новые издания

Современники предрекали Веневитинову славу, превышающую славу самого Пушкина. Но поэт вспыхнул лишь «кратким пламенем» — его жизнь оборвалась, когда ему не было и 22 лет. Литературные энциклопедии бесстрастно свидетельствуют: причина смерти — простуда после бала. Но Герцен писал: «Веневитинов был убит обществом». А вот что говорит по этому поводу современный исследователь творчества и судьбы поэта: «Я увидел его, полного чаяний пересоздать настоящее своей страны во имя ее гармоничного будущего, и его же, почувствовавшего вдруг невозможность осуществления этих чаяний, ошутившего тщетность своих гражданских и творческих устремлений... Дмитрий Веневитинов погиб на этой дуэли с самим собой, не признавая компромиссов, не представляя своей завтрашний день без надежды».

ЗВЕЗДА ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

Эта мысль принадлежит поэту, критику, литературоведу М. А. Чернышеву, выпустившему книгу о жизни и творчестве Д. Веневитинова. Автор не впервые обращается к этой теме: именно ему принадлежат комментарии к наиболее полному и текстологически выверенному изданию произведений Д. Веневитинова, вышедшему в 1980 году.

Со страниц книги М. Чернышева Д. Веневитинов предстает во всей многогранности своего неповторимого таланта.

Вот Веневитинов-поэт. В литературе он занял высокое место своеобразного творца, обогатившего традиции русской романтической поэзии, русской медитативной лирики. Автор книги считает, что поэт «сумел в привычные лирические формы и формулы внести иное — философское содержание, возведя любое частное чувство в широкое философское обобщение...». Незаконченная «Евпраксия», рассказывающая о борьбе рязанцев с Батыем, свидетельствует: Веневитинов чувствовал себя свободно и в жанре поэмы. А были у него еще и поэтические послания, лирические миниатюры, сонеты...

Состоялся и Веневитинов-прозаик, перу которого принадлежит неоконченный роман «Владимир Паренский» и ряд новелл. Он делал и весьма серьезные шаги в критике: например, интереснейшая работа «Разбор статьи о «Евгении Онегине», целый ряд других критических материалов, опубликованных в периодике того времени.

А Веневитинов-философ? Вооруженный мощной философской концепцией, он во многом содействовал развитию русской общественной мысли. Известный философ и публицист И. В. Киреевский, соратник Веневитинова по «Обществу Любоумудров», писал: «Веневитинов создан был действовать сильно на провещение своего Отечества, быть украшением его поэзии и, может быть, создателем его философии». Создателем! Высочайшая оценка для юноши. Ну а М. А. Чернышев убежден, что Веневитинов «останется в нашем сознании первым русским поэтом-философом, кто основывал свое творчество на определенной философской системе; останется основателем отечественной философской эстетики».

А был еще Веневитинов-переводчик, прекрасно владевший греческим и латинским, французским, немецким и английским, изучавший итальянский, свободно читавший в подлинниках Гомера и Эсхила, Софокла и Платона, Вергилия и Горация. Он оставил нам великолепные переводы поэзии Гете, ряда других поэтов, философов и историков.

Был и Веневитинов — общественный деятель, ставший душой журнала «Московский вестник». Вместе с Зинаидой Волкенской, которую безответно любил и буквально боготворил, он вынашивал идею создания в Москве кружка под названием «Патриотическая беседа». Размышляя над вопросами укрепления русского национального самосознания, мечтал об организации в Москве Эстетического музея...

Говоря о Веневитинове-человеке, М. А. Чернышев отмечает, что велика была притягательная сила его личности, «пробуждающая в людях великую ответственную силу любви и уважения...». Словом, он был во всех смыслах личностью неординарной.

Книга М. Чернышева завершается проникновенными словами: «Упала звезда. Пронеслась по небосклону — и сгорела. Но звезды — сгорают. Люди — остаются, даже если и их путь был краток, как у падающей звезды. Они остаются не на небе, они остаются в наших сердцах. И по ним мы мерим себя. Дай только Бог, чтобы было, что мерить в нас».

ВОРОНЕЖ

Евгений НОВИЧИХИН

М. А. Чернышев. «В душе неразгаданной думы тая...». Саратов, ИПЦ ГКПО «Заволжье», 1992. 280 стр.

Страничка из дневника

Предлагаю вниманию читателей «Литературной России» дневниковую запись моей матери, Ольги Николаевны КОРЧАГИНОЙ-ЛЯШКО. Дневник велся второпях и не очень регулярно с первых месяцев 1930 года. Обширный характер его — исповедально-интимный, предельно личный.

Начинается он так: «Отец мой — токарь по металлу, крестьянин, пекарь... и наконец литератор. Мать — пианистка. Родилась я в 1906 году в Черкасской тюрьме. И отец и мать были приговорены к ссылке за «политику»».

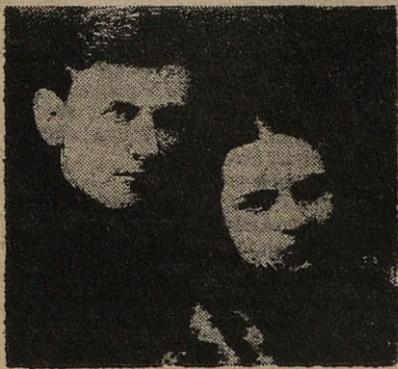
На первой странице этой небольшой тетради — карандашная метка: «О. Ляшко. Литфак, IV к.». Мама была тогда на предэкзаменической практике, заканчивая обучение в Брюсовском институте, в Москве. Писала стихи, рецензии, пробовала силы и в прозе. С августа работала в редакции журнала «Красная Ночь». Вела занятия в литературных объединениях рабочих молодежи. А 21 октября (день ее рождения) того же тридцатого покончила жизнь самоубийством. Мне в ту пору шел четвертый год.

В. КОРЧАГИН

16/IV 30 г.

Сейчас первый час ночи. Только что вернулась из клуба ФСОП. Там лежит Маяковский. Два дня мы все ходим растерянные, мепонишающие. Слоняемся, спрашиваем друг друга.

Я узнала 14-го в 12 в редакции «Октябрь». Прекратилась работа редакции. Прибежали красные, еще не верящие ребята и снова убежали. Он застрелился в 10 ч. 15 м. в сердце. Ночевал он у Брики на Таганке, откуда в автомобиле ехал к себе на Лубянку. На Красной площади, почти в 10 ч., остановил шофера, сошел и купил папиросы. И как дальше? Он доехал до дому, вошел, снял пиджак и выстрелил. Это огромное тело стало падать, он упал. Так незлы. Эта невероятная выдержка и расчет. Предсмертное письмо, написанное еще 12-го, он оставил на квартире у Брики. Они сейчас за границей. Письмо — ничто. Из него только видно, насколько наш советский человек погиб. Ведь одной строки, где он сказал бы о душевной социальной среде, о типике, в который неизбежно упирается творец-индивидуальность, было бы достаточно, чтобы это, еще смутное чувство, которое ничто, не решается высказать, встало во всей яркости и беспощадности. Он это ощущал острой всех. Его огромная творческая, напряженная сила была взята в тиски, подкована и взнуздана. Для нас, для рядовых людей это даже не конфликт, а быть может, лучший



способ организовать себя, заставить быть полезным, что-то делать.

Но его стихийная, такая анархическая натура — в этом, организующем сознание, воздухе — вырождалась в сильную, полезную, но творчески не ценную машину, производящую по социальному заказу добродетельную, заимательную и полезную стихотворную немочь. Эта апология социального заказа мстила за себя. «Баня» — это предел, за ним творческий метод вырождается в пародию.

Я чувствую, я угадываю (и так чувствуют многие), что все это подготавливалось заранее. Он сам, спокойно и детально, подготавливал себя к выстрелу. Провал «Бани. Выход в ГИЗ» последнего тома собраны сочинений. Выставка. Эта определенность итогов — 20 лет работы. Круглая цифра. И наконец стихотворение «Во весь голос». Тут, издаваясь с остервенением и болью над поэтами-эстетиками, он говорит:

И мне агитпроект в зубах навяз,
и мне бы стричь романы на вас —
дохлой оло и престелней.

Но я слышал, становясь
на зло собственной песне.

Он становился на горло своей песне — песне, сильнее и громче которой еще не слышала русская поэзия. И песня отомстила, расправила плечи (в этом последнем стихотворении) и повернула голову Маяковского к прошлому, к тому прошлому, когда его песня, не сдавленная и молодая, рокотала и переливалась над Россией.

Не мог Маяковский безаказанно брать на себя роль этой толстой свиньи — Демьяна. Я не говорю об искусстве для искусства. Я не так глупа и реакционна. Нет — поэт выражает